

...Да не тушуйся ты, радость моя, мне на твои вопросы отвечать не трудно, тем боле, письменно... Такой вариант интервью позволяет отвлечься на разные мелкие удовольствия. Кофе себе сварю, запалю сигарку, припомню смешное, грустное или совсем уже дикое за день, присяду к компу и опять пощелкаю — облезлая птичка щегол...

Я чуть не каждое письмо к тебе пишу из ночи в ночь, не отсылая (такая вот неожиданная забава для почтенной леди). После работы обычно устаю как собака, и сил нет ни писать, ни говорить — ты и сама знаешь: бывают минуты, когда от себя тошно. А то вдруг расправлюсь, распишусь страниц на пять, как сегодня, и развезет меня, и заполошет... Может, потому, что опять во сне летала на шарике, и ветер усилился, и скорость приличная была, километров двадцать, а горизонт — метров триста пятьдесят. И курс почему-то — на Кинешму.

Ты когда-нибудь видела, как ставят шар?

Во всем мире аэростаты запускают на заре, либо уже на заходящем солнце, ибо температура вокруг взлетающего шара должна быть низкой, земля —

8 холодной, а погода безветренной, без «термиков» — восходящих термальных потоков.

Представь огромное поле в предрассветной тьме: волглая тишь, роса стоит густым покрывалом на траве, на одежде, на волосах... Люди вытягивают из грузовиков спеленутые купола, как рыбаки — тяжелые мокрые сети, и отрывистые их голоса плывут темными рыбами в дремном озере слоистого тумана... А травами пахнет так, что можно сойти с ума, словно земля всеми силами пытается тебя удержать. Утробная сырость матушки-земли продирает до костей, а в самой глубине ликующей крови уже кипит это неумное: прочь! из обжитого, насквозь твоего мира — прочь, в обжигающий холод высоты.

Эх, ладно...

Итак, распеленывают купол — шар в сборе весит килограмм триста, — расстилают на траве оболочку подержанного рекламного аэростата какой-нибудь «Пепси-колы», цепляют ее к корзине (она лежит на боку), и в отверстие горла шара из вентилятора пошел начальный холодный воздух — потом его нагревают горелками.

И вот уже огромное полотно ходит, как живое, по нему прокатывают волны упругой дрожи: то ли удав тигра проглотил, то ли проснувшийся кашалот ворочается. Гигантская мятая башка силится подняться, валится на бок, вновь привстает, как бы ошарашенно, с бодуна оглядываясь вокруг. Мал-помалу шар начинает набирать объем: медленно пухнет, обрастает щеками, хорошеет...

Пилот сидит в корзине и струей горячего воздуха из горелок выращивает тряпку в живой упругий купол. Не знаю, кому как, но мне в этом всегда

чудилось нечто ископаемое, мезозойское, что ли...
мощно эротическое.

А с другого края, с макушки шара выходит фал управления — специальная веревка такая, метров двадцать длиной, за нее держатся несколько человек, не давая кашалоту всплескивать хвостом по земле. И по мере того, как шар нагревается и встает, фал постепенно отпускают, пилот переваливает корзину в вертикальное положение, а люди придерживают ее, чтобы шар не улетел раньше времени.

Проходят пять, семь минут, аэростат нагревается, подъемная сила растет, люди по команде пилота отпускают руки, и гигантский шар — маленькая планета, наполненная тугой горячей жизнью, — отрывается от земли!

Теперь закрой глаза и попытайся представить, как вибрируют и упруго поют-гудят тросы, как за плетеную корзину цепляется сизая рванина облаков, а ветер обжигает и шкурит лицо; как тихо плывет, освещенный изнутри ночной подсветкой, гигантский китайский фонарик метров эдак в двадцать высотой; как взбегают под брюхом, взлизывая его, бледные саламандры огня, и незабываемый — странный, ритмичный, глуховатый, похожий на далекий паровозный гудок рев выпускаемого из горелки газа сопровождает медленный полет в ледяном воздушном океане; торжественно прекрасный полет озаренного шара, летящего со скоростью ветра...

...Почему б тебе не написать повесть о воздухоплатателях, о волшебных фиестах нашей далекой юности, о бесшабашном мужестве очарованных

10 людей? Настоящую романтическую повесть, где и любовь будет настоящая, крепкая, старой заправки любовь. И название повести дать: «Монгольфьеры» — да у тебя весь тираж раскупят за два дня.

Далась тебе эта косметология! Не представляю, кого могут заинтересовать подробности моей окаянной профессии, со всеми ее диковатыми процедурами и пикантными, мягко говоря, картинками. Иногда на вопрос собеседника о моей специальности я — если хохмить охота — отвечаю: «Не подумайте плохого, работаю в органах».

Кстати, а как ты станешь выкручиваться, называя на страницах своей повести тот самый орган, над которым я ежедневно зависаю, надев очки и предоставляя популярный *сервис* под названием «бразильское бикини»? Будешь ханжески «запикивать» точками? Напрасно! Почему б и не назвать исконным народным именем нашу старую добрую... черт, даже и в частном письме как-то рука не поднимается нащелкать чеканно-звонкое слово, знакомое каждому пятикласснику. Крепко же вбили в нас трепет перед *не вырубешь топором!* (Пушкин — тот называл, не брезговал, хотя и писал самым что ни на есть гусиным пером, это уж точно.)

Ну, да воля ваша, барыня-писатель, расскажу все в подробностях, выложу, как на духу, ничего не утаю.

Итак, моя профессия... «Куда ж нам плыть?»

С чего начать? Описать для затравки, как однажды пришлось делать «бразильское бикини» одному толстому мужику? Написала «толстому», а грамотный айпад тут же поправил — «Толстому». Нет, Толстого *ваксить* (айпад выдал «ваксить»,

меня умиляет его педантичность!) — упаришься. И поверь, бабы куда интереснее и разнообразнее. С мужиком не поговоришь, не обсудишь новостей косметологии, не поделишься средствами борьбы с молочницей — короче, скукотища, никакого интима. Ему тоже не позавидуешь: препоручать свое добро чужим рукам. И все приказы отдаю я: «Поднять! опустить! так держать!» Да и зрелище — средненькое, уровень немого кино.

Ну ладно, я не об этом. Сижу себе, пошучиваю, дым из ноздрей пускаю — трепанная жизнью пожилая драконица. Может, не прошел у меня еще тот позавчерашний шок? Дай расскажу...

Явилась ко мне на «бразильское бикини» мексиканка, беременная двойней. Ей, понимаешь ли, за два часа до родов понадобилось начисто убрать ее черную метелку. Взгромоздилась на кушетку, живот до потолка — не могла даже охватить его руками, чтобы мне помочь. И только я наложила слой теплого воска, приложила ткань, дернула... как вздрогнули, сотряслись и завопили дети в ее тугом барабане. Стали топать, бить изнутри кулачками, выпирать головки и колотить ногами по брюху. Вот-вот вышибут дно и выйдут вон.

Я отшатнулась и с ужасом уставилась на это гневное головоногое восстание, я просто онемела. И тут из клиентки моей хлынули воды прямо на кушетку. Закричала она; видимо, закричала я... Перед праздником салон был полон народу — публика решила, что я добиваю краснокожих.

Ну, позвонили 911, и амбуланс приехал минут через пять, которые для меня тянулись дольше ве-

12 ка. Вообрази эту пародию на родильное отделение: кушетка, соответствующая поза клиентки и я, акушер-косметолог в резиновых перчатках.

Сейчас-то я уже и зубоскалить могу, а тогда все так стремительно и страшно понеслось: я держала ее ноги, кто-то держал голову. Мне повезло, я увидела очевидное и все же невероятное: клянусь, мне казалось, что там, в отполированной моим ваксом щели, ворочается темечко!

Ну, приехали, значит, одновременно и амбуланс, и полиция, клиентку-пациентку спросили, когда ее срок рожать. Она простонала: «Вчера, сегодня, завтра...»

Врач только руками развел. Политкорректность американская не позволила выразить, что он думает об этой идиотке. Наконец, увезли ее, впору было и меня свезти в какую-нибудь палату, ибо полиция, как положено, подвергла меня небольшому допросу: не был ли слишком горячим вакс, не спровоцировала ли я роды своими непрофессиональными действиями. Обычная рутина... я же оцепенела от ужаса: шутка ли, обвинение в халатности, и где — в Америке, зачарованной державе судебных исков! Понятно, работать в тот день я уже не могла — руки трясутся, подбородок дрожит, глаза на мокром месте. Коллеги меня чем-то напоили, успокоили и отвезли домой. Больше ничего не помню: проспала часов двенадцать. Это три моих обычных нормы.

А недавно тоже интересный случай был. Пришла на ту же процедуру молодая негритянка. Ничего, что я их по старинке зову, как Марк Твен и Агата Кристи? Никогда не могла постичь главного жупела

Великой Политкорректности: страна Нигерия есть, а негров, хоть обыщись, нигде нет; при том, что китайку я вполне могу назвать китайкой — той по фигу, ибо смотрит в корень.

Короче, явилась такая вот черная пантера, зубы сияют, глазки стреляют... Поставила ее в привычную позицию, вид сзади, смотрю — мама родная! — да у нее вся задница искусана! Вся в шрамах, даже следы зубов различимы. О чем при виде такого пейзажа думает нормальный человек? Конечно, о собаке. Осторожно интересуюсь — какой, мол, породы любимая собачка? А она мне с кокетливой гордостью: это муж. В определенные моменты страсти, на завершающем, так сказать, этапе неистовой любви должен непременно вгрызться! Бывало, что накладывали швы и скобки... Обернулась, увидела мое лицо и торопливо добавила: все, мол, о'кей, она и сама не может достичь апогея, пока от ее задницы не отхватят приличный кусок.

Представь-ка этот кадр: ее позу, мой белый халат... Одно хорошо: меня еще могут удивлять люди. Люди?!

* * *

...Это ж уму непостижимо — от чего зависит мое настроение! От снов, поверишь ли...

Снится мне покойная тетя-Таня, мамина сестра, на своем рабочем месте в углу парикмахерской. Что-то там она переставляет, вытирает тряпочкой пыль с полки и рассказывает мне, уже взрослой, какие-то мелкие сплетни. А я рядом стою: двадцатилетняя кобыла, красавица каурая, в своей бе-

14 зумной кожанке «с разговорами» — с заклепками да молниями; в Киеве таких только две были, у меня и у племянника министра тяжелой промышленности Сереги Боярина, с которым мы тогда уже всю прыгали с парашютом. Стою, значит, переминаюсь на длинных своих ногах, краса и гордость университета, и попутно вымазываю ресницы «харчковой» тушью «Ленинград» — помнишь эти незабвенные картонные коробочки, куда надо было смачно харкнуть, а потом повозить-помусолить щеточкой, набирая натуральную сажу, чтобы ресницы были «как у Пьехи»?

Проснулась в слезах, старая кошелка, и первым делом вспомнила необъятную тетя-Танину грудь, высокую, щедрую, матриархальную! Вот это была грудь, сейчас такие только надувают! Это была Грудь-Императрица, на нее хотелось пришпилить все на свете ордена, от монгольского Полярной Звезды до Ордена Подвязки, и, уверяю тебя, еще б осталось место для какой-нибудь миленькой золоченой брошки.

Правда, и хлопот с этим хозяйством было немало: бюстгальтеры приходилось шить или доставать импортные. Доставала их для тетки мама, у нее был блат в центральном универмаге; доставала и продавала Тане на пять рублей дешевле, чем они стоили. Это была ее существенная помощь сестре. Папа говорил: «Твой процветающий гешефт...» и маму называл «мамахен-спекуляхен».

«Таня бедная, — тихо возражала мама, — а такая грудь требует вложений».

Она утверждала, что успех у мужчин Таня имеет не из-за груди, а из-за стихов. Та знала чертову

пропасть стихов типа *любовь не вздохи на скамейке*, а Эдуарда Асадова вообще шпарила наизусть целым сборником — само собой, он был ее любимым поэт. Ни о каких таких Мандельштаме или Цветаевой, которых я ей подсовывала, и слышать не хотела: «Та у них ни хрена не понятно!» Асадов был понятен и пронзителен, как и Щипачев.

Господи, где Таня, где я, где Щипачев с Асадовым... Черт бы побрал эти сны! — вот, с утра в башке ностальгическая пьеха подвывает...

* * *

...Зашла утром в ванную, открыла один из ящиков — чего там только нет! Бигуди: ежики, липучки, поролоновые папильотки, огромные колеса и тонкие негнущиеся трубочки. Другой открыла — там плойка, фен, еще с десятков разных штуквин, которые все равно остаются без применения. Да у меня еще самая скромная коллекция.

И вспомнила я наше бедное детство. Бедность — это главное воспоминание. Что было у парикмахера на столике под зеркалом? Ножницы. Расческа. Щипцы для завивки. Ну, одеколон, ну, пудра... Возможно, бриолин, если удавалось достать. Вот, пожалуй, и все. Ножниц нам, детям, касаться было запрещено — их ведь делали на заказ. Каждую неделю являлся Яшка-наточник и приводил ножницы «у божески вид». Ставил свою шарманку во дворе и принимался зудеть и напевать: его гнусавый голос и визг точилки сливались в одну дикую степную песнь кочевника. Смотреть на этот процесс было моим любимым занятием, так что мне поручали отнести-принести.